

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1)

Тверь, 18 Маия 1789.

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! кто знает, чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, — на окно, под которым сиживал я, подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставляло меня восходящее солнце, — на готической дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, — одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их,

и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы зарази-
тельны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всего любезнее, и с вами надлежало рас-
статься. Сердце мое так много чувствовало, что я гово-
рить забывал. Но что вам сказывать! — Минута, в кото-
рую мы прощались, была такова, что тысячи приятных
минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милой Птрв. провожал меня до заставы. Там обня-
лись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; —
там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось
для меня столько любезного, и сказал: *прости!* Коло-
кольчик зазвенел, лошади помчались... и друг ваш осир-
отел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы,
в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди
вас, милые? — Естли бы человеку, самому благополуч-
ному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце
его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту,
в которую он думал назвать себя счастливейшим из
смертных!..

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной
радостной мысли; а на последней станции к Твери
грусть моя так усилилась, что я, в деревенском тракти-
ре, стоя перед карикатурами Королевы Французской
и Римского Императора, хотел бы, как говорит Шекс-
пир, *выплакать сердце свое*. Там-то все оставленное
мною явилось мне в таком трогательном виде — — Но
полно, полно! Мне опять становится чрезмерно груст-
но. — Простите! Дай Бог вам утешений! — Помните
друга, но без всякого горестного чувства!

(2)

С. Петербург, 26 Маия 1789.

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час по-
еду в Ригу.

В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д**, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек¹ открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчастлив!.. «Состояние мое совсем твоему противоположно, — сказал он со вздохом, — главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. Но не думай, мой друг, — сказал я ему, — чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаюсь другого, и жалею. — Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим Англичанином, через которого надлежало мне получить вексели. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал Капитана, которой через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в Адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из Московского, а не из Петербургского Губернского Правления, и что в нем не сказано, как я поеду; то есть не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха — я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем, или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную — и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

¹ Его уже нет в здешнем свете.

Рига, 31 Маия 1789.

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу, и остановился в Hotel de Petersbourg¹. Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга *на перекладных*, и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрой, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось; кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то Полицейской, и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. Спрячь ее в карман! сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О естли бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренно проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы — которое настроивает к мечтам наше воображение, и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает — и в самый тот миг, как сердце мое стало

¹ Петербургская гостиница (*фр.*). Переводы, после которых не указан язык оригинала, авторские.

полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: «У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам — вот наш дом — батюшка и матушка приказали вас просить к себе». — Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному, и весь мокр. — «К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйста!» — Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей — разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взяли за руки, и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. «Нет, еще постойте!» — сказали мне — и хозяйка принесла на блюде три хлеба. «Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его». *Бог с вами!* — примолвил хозяин, пожав мою руку. — *Бог с вами!* — Я сквозь слезы благодарил его, и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. — Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого, и столь редкая во дни наши! естли я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера!¹ Простился со всею любезною се-

¹ Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо — он был доволен — я еще больше!

мьею, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкою добрых людей! —

Почта от Нарвы до Риги называется Немецкою, для того, что Коммисары на станциях Немцы. Почтовые дома везде одинакие — низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам Коммисар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде, как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: Г. З**, едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настрашал меня песчаными Прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как Чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не заметил никакой розницы между Эстляндцами и Лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; имеют в себе мало собственного, много Немецких, и даже несколько Славянских слов. Я заметил, что они все Немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен; но, видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякой должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леньность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит госпо-

дину вчетверо более нашего Казанского или Симбирского.

Сии бедные люди, *работающие господам со страхом и трепетом* во все будничные дни, за то уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их Календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом — праздновали Троицу.

Мужики и господа Лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении Апостола Петра. Проповеди говорятся на их языке; однако ж Пасторы все знают по-Немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. — Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре, и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлебом. — Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или собственно так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой все на Немецкую статью, а в другой все на Рускую. Тут была прежде наша граница — о Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. *Что город, то*

норов; что деревня, то обычай. — Здесь-то живет брат несчастного Л**¹. Он главный Пастор, всеми любим, и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним Лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. «Ах, государь мой! — сказал он мне, — самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая Поэму шестнадцатилетнего Л**, и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит *утренней зари великого духа*? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. *Глубокая* чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром, погубила его. Другие обстоятельства, и Л* бессмертен!» —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город — много лавок, много народа — река покрыта кораблями и судами разных наций — биржа полна. Везде слышишь Немецкой язык — где-где Руской — и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки — но много каменного строения, и есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в Правление и в Благочиние и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе с одним Французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. — Илью отправлю отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

¹ Ленца, Немецкого Автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены, и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарской счет; то есть за одни сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово, и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею — он к вам поехал, милые! — Начинало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижской купец пошел со мною к Майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! Вот первый иностранный город, думал я — и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец Герцога Курляндского, не малый дом, впрочем по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке,

недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам Герцог исключительно торгует, и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но не хорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе. Тотчас окружили нас Жиды с разными безделками. Один предлагал трубку, другой старый Лютеранской молитвенник и Готшедову Грамматику, третий зрительное стекло, и каждый хотел продать товар свой таким добрым господам за самую сходную цену. Француженка, едущая с Парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, а мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу — видели, как молодой Офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносая Немка в чепчике бранилась с пьяным мужем своим, сапожником!

Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом, и после обеда имели время напиться кофе, чаю, и поговорить довольно. Я узнал от спутника своего, что он родом Италиянец, но в самых молодых годах оставил свое отечество и торгует в Париже; много путешествовал и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. — За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались Немецкие извозчики из Либав и Пруссии. Странные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и висящие на них гремяшки производят несносный для ушей шум.

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме. Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постеля для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкою зеленою травою и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один Московский вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в Курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный; что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа: боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. — Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо, и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два Немца, которые в особой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить Руской народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? Нет, отвечали они. А когда так, государи мои, сказал я, то вы не можете судить о Руских, побывав только в пограничном городе. Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня Руским, вооб-

ражая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии, и скопил там много полезных знаний. «Кто хочет узнать свет, — говорил он, — тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, что в Роттердаме я сделался человеком!» — Хорош гусь! думал я — и пожелал им доброго вечера.

(5)

Поланга, 3/14 Июня 1789.

Наконец, проехав Курляндию более двухсот верст, въехали мы в Польские границы и остановились ночевать в богатой корчме. В день переезда обыкновенно десять миль, или верст семьдесят. В корчмах находили мы по сие время, что пить и есть: суп, жареное с салатом, яицы; и за это платили не более как копеек по двадцати с человека. Есть везде кофе и чай; правда, что все не очень хорошо. — Дорога довольно пуста. Кроме извозчиков, которые нам раза три попадались, и старомодных берлинов, в которых Дворяне Курляндские ездят друг к другу в гости, не встречались никакие проезжие. Впрочем дорога не скучна; везде видишь плодоносную землю, луга, рощи; там и сям маленькие деревеньки или врозь рассеянные крестьянские домики.

С Французским Италианцем мы ладим. К Французенке у меня не лежит сердце, для того что ее физиогномия и ухватки мне не нравятся. Впрочем, можно ее похвалить за опрятность. Лишь только остановимся, извозчик наш Гаврила, которого она зовет Габриелем, должен нести за нею в горницу уборный ларчик ее, и по крайней мере час она помадится, пудрится, при-

тирается, так что всегда надобно ее дожидаться к обеду. Долго советовались мы, сажать ли с собою за стол Немцов. Мне поручено было узнать их состояние. Открылось, что они купцы. Все сомнения исчезли, и с того времени они с нами обедают; а как Италиянец с Французженкою не понимают по-Немецки, а они по-Французски, то я должен служить им переводчиком. Немец, который в Роттердаме стал человеком, уверял меня, что он прежде совершенно знал Французской язык и забыл его весьма недавно; а чтобы еще больше уверить в этом меня и товарища своего, то при всяком поклоне Французженке говорит он: *оплише, Матам! obligé, Madame!*¹

На Польской границе осмотр был не строгой. Я дал приставам копеек сорок: после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового.

Море от корчмы не далее двухсот сажень. Я около часа сидел на берегу и смотрел на пространство волнующихся вод. Вид величественный и унылый! Напрасно глаза мои искали корабля или лодки! Рыбак не смел показаться на море; порывистый ветер опрокинул бы челн его. — Завтра будем обедать в Мемеле, откуда отправлю к вам это письмо, друзья мои!

(6)

Мемель, 15 Июня, 1789.

Я ожидал, что при въезде в Пруссию на самой границе нас остановят; однако ж этого не случилось. Мы приехали в Мемель в одиннадцатом часу, остановились в трактире — и дали несколько грошей осмотрщикам, чтобы они не перерывали наших вещей.

¹ К вашим услугам, мадам! (*фр.*)

Город не велик; есть каменные строения, но мало порядочных. Цитадель очень крепка; однако ж наши Русские умели взять ее в 57 году.

Мемель можно назвать хорошим торговым городом. Курляндской Гаф, на котором он лежит, очень глубок. Пристань наполнена разными судами, которые грузят по большей части пенькою и лесом для отправления в Англию и Голландию.

Из Мемеля в Кенигсберг три пути; по берегу Гафа считается до Кенигсберга 18 миль, а через Тильзит 30: большая розница! Но извозчики всегда почти избирают сей последний путь, жалея своих лошадей, которых весьма утомляют ужасные пески набережной дороги. Все они берут здесь билеты, платя за каждую лошадь и за каждую милю до Кенигсберга. Наш Габриель заплатил три талера, сказав, что он поедет берегом. Мы же в самом деле едем через Тильзит; но Руской человек смекнул, что за 30 миль взяли бы с него более, нежели за 18! Третий путь водою через Гаф, самый кратчайший в хорошую погоду, так что в семь часов можно быть в Кенигсберге. Немцы наши, которые наняли извозчика только до Мемеля, едут водою: что им обоим будет стоить только два червонца. Габриель уговаривал и нас с Италианцом — с которым обыкновенно говорит он или знаками, или через меня — ехать с ними же: что было бы для него весьма выгодно; но мы предпочли покойное и верное беспокойному и неверному, а в случае бури и опасному.

За обедом ели мы живую, вкусную рыбу, которою Мемель изобилует; а как нам сказали, что Прусские корчмы очень бедны, то мы запаслись здесь хорошим хлебом и вином.

Теперь, милые друзья, время отнести письмо на почту; у нас лошадей впрягают.

Что принадлежит до моего сердца... благодаря судьбе! оно стало повеселее. То думаю о вас, моих ми-

лых — но не с такою уже горестию, как прежде, — то даю волю глазам своим бродить по лугам и полям, ничего не думая; то воображаю себе будущее, и почти всегда в приятных видах. — Простите! Будьте здоровы, спокойны, и воображайте себе странствующего друга вашего *рыцарем веселого образа!* —

(7)

*Корчма, в миле за Тильзитом,
17 Июня 1789, 11 часов ночи.*

Все вокруг меня спит. Я и сам было лег на постелю; но, около часа напрасно ожидав сна, решился встать, засветить свечу и написать несколько строк к вам, друзья мои!

Я рад, что из Мемеля не согласился ехать водою. Места, через которые мы проезжали, очень приятны. То обширные поля с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то маленькие рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькие деревеньки вдали составляли также приятный вид. *Qu'il est beau, se pays-ci!*¹ — твердили мы с Италианцем.

Вообще, кажется, земля в Пруссии еще лучше обработана, нежели в Курляндии, и в хорошие годы во всей здешней стороне хлеб бывает очень дешев; но в прошедший год урожай был так худ, что Правительству надлежало довольствоваться народ хлебом из заведенных магазинов. Пять, шесть лет хлеб родится хорошо; в седьмой год худо, и поселянину есть нечего — оттого что он всегда излишно надеется на будущее лето, не представляя себе ни засухи, ни града, и продает все сверх необходимого. — Тильзит есть весьма изрядно

¹ Как прекрасна эта местность! (фр.)

выстроенный городок и лежит среди самых плодороднейших долин на реке Мемеле. Он производит значительный торг хлебом и лесом, отправляя все водою в Кенигсберг.

Нас остановили у городских ворот, где стояли на карауле не солдаты, а граждане: для того, что полки, составляющие здешний гарнизон, не возвратились еще со смотру. Толстой часовой, у которого под брюхом моталась маленькая шпажонка, подняв на плечо изломанное и веревками связанное ружье, с гордым видом сделал три шага вперед и престранным голосом закричал мне: *Wer sind Sie? Кто вы?* Будучи занят рассмотрением его необыкновенной физиогномии и фигуры, не мог я тотчас отвечать ему. Он надулся, искривил глаза и закричал еще страшнейшим голосом: *Wer seyd ihr?*¹ — гораздо уже неучтивее! Несколько раз надлежало мне сказывать свою фамилию, и при всяком разе шатал он головою, дивясь чудному Русскому имени. С Италианцом история была еще длиннее. Напрасно отзывался он незнанием Немецкого языка: толстобрюхой часовой непременно хотел, чтоб он отвечал на все его вопросы, вероятно с великим трудом наизусть вытверженные. Наконец я был призван в помощь, и на силу добились мы до того, чтобы нас пропустили. — В городе показывали мне башню, в разных местах простреленную Рускими ядрами.

В Прусских корчмах не находим мы ни мяса, ни хорошего хлеба. Французенка делает нам *des oeufs au lait*², или Рускую яичницу, которая с молошным супом и салатом составляет наш обед и ужин. За то мы с Италианцом пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили.

Лишь только расположились мы в корчме, где теперь ночуем, услышали лошадиный топот, и через пол-

¹ Вы кто? (нем.)

² Омлет (фр.).